

Эстетика смерти и этика возмездия: русский политический терроризм начала XX века в современном контексте

Шишкина Лидия Ивановна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры филологии и журналистики
Кандидат филологических наук, доцент
lidia_shishkina@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются причины, корни и наиболее характерные черты феномена терроризма на материале русского политического экстремизма начала XX века. Особое внимание уделяется психологии террора и состоянию общественного сознания, принимающего или отвергающего практику терроризма. В результате выявляются типологические закономерности теории и практики терроризма начала XX и XXI веков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

терроризм, политический экстремизм, религиозность, общественное мнение, боевая организация, возмездие, жертвенность

Shishkina L. I.

Aesthetics of Death and Ethics of Retribution: Russian Political Terrorism of the Early XX Century in a Modern Context

Shishkina Lidia Ivanovna

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of Philology and Journalism
PhD in Philology, Associate Professor
lidia_shishkina@mail.ru

ABSTRACT

This article discusses the causes, roots and most characteristic features of the phenomenon of terrorism in the Russian political extremism material of the early twentieth century. It focuses on the psychology of terror and social awareness, to accept or reject the practice of terrorism. The result revealed typological patterns of theory and practice of terrorism of the early 20-th and 21-th centuries.

KEYWORDS

terrorism, political extremism, religiosity, public opinion, a militant organization, revenge, sacrifice

На сломе XX–XXI вв. религиозный и политический экстремизм, нашедший свое крайнее выражение в терроризме, превратился в главную угрозу для человечества. В настоящее время терроризм приобрел глобальный характер, охватывая все новые геополитические пространства от Тихого океана до Атлантического. Поражает и сила ненависти, разгорающейся между противоборствующими сторонами. Все это ставит перед необходимостью осмыслить корни и причины происхождения терроризма, а также почву его бытования.

Сегодня мы присутствуем при осуществлении пророчества американского социолога и публициста С. Хантингтона, 20 лет назад предсказавшего главный конфликт нового тысячелетия как «столкновение цивилизаций» и определившего новую

ось противостояния, пришедшего на смену противоборству идеологических систем Запада и Востока, как цивилизационный конфликт Глобального Севера и Глобального Юга¹. В настоящее время уже не вызывает возражения, что современный терроризм во многом является порождением глобализации с ее процессами вестернизации, универсализации, секуляризации, поглощения этносов и унификации культур. Ответной реакцией на «культурный шок» глобализма стало стремление к национальной и религиозной идентичности и отстаиванию ценностей традиционных культур, что породило в «технологически поработаемых» обществах системные протестные настроения, реализуемые в самых радикальных формах. По сути, исламский терроризм представляет доведенный до крайнего выражения протест на насаждаемые Западом ценности. На практике он стал новым типом войны XXI века — войны, не имеющей четко выраженной линии столкновения, точечной, перенесенной на территорию противника.

Среди причин и условий происхождения и бытования терроризма можно выделить различные аспекты: социально-экономический, культурно-исторический, цивилизационный; одним из важнейших является социально-психологический, связанный с состоянием общественного сознания, поддерживающего или отрицающего данные действия. При этом явственно вырисовываются типологические черты, свойственные феномену терроризма в разных странах и в разные эпохи. Их, безусловно, надо учитывать, разрабатывая стратегию противостояния современному вызову. В связи с этим актуализируется опыт политического экстремизма, который пришлось пережить России на рубеже прошлого столетия.

Политический терроризм в России связан, в первую очередь, с эпохой «Народной воли», закончившейся убийством Александра II 1 марта 1881 г. Но массового распространения он достиг в 1900-е годы в деятельности Боевой организации партии социалистов-революционеров. Провозгласив себя идейной наследницей «Народной воли», подхватившей из рук последней «тяжелый меч возмездия», эта партия видела свою задачу в том, чтобы путем физического уничтожения отдельных политических деятелей заставить правительство отказаться от власти.

Идея ответа на силу и жестокость власти встречной силой и еще большей жестокостью всегда была ключевой в террористическом движении. И в начале XX в. главным аргументом партийных теоретиков и публицистов в пользу террора было представление его в качестве ответа на действия правительства, который был направлен не против личности конкретного государственного деятеля, а против исполняемой ею социальной функции. «В качестве такового, — писал лидер эсеров В. Чернов в программном документе, — акт этот совершенно очищается от всякого личного элемента»².

Вторым аргументом служила идея неотвратимости возмездия. Все жертвы 1902–1903 гг. были выбраны как символы государственных репрессий и не вызвали сочувствия общественного мнения. Таковыми были громкие убийства министра внутренних дел В. К. Плеве, уфимского губернатора Н. М. Богдановича, московского генерал-губернатора вел. князя Сергея Александровича, а в годы революции — умиротворителя московского вооруженного восстания генерала Мина, военного прокурора Павлова, начальника петербургской тюрьмы Гудима и целый ряд других. Все они были восприняты определенной («передовой») частью русского общества как закономерное наказание за совершенное преступление. Это дало возможность организатору БО эсеру Г. Гершуни утверждать, что «мишень для террора указывает общественное мнение», «террорист казнит свою жертву по приговору народно-

¹ Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and Remaking of World Order (1996).

² Чернов В. Еще о критиках террористической тактики // По вопросам программы и тактики: сб. статей из «Революционной России». Женева, 1903. С. 183.

го суда». В своей речи на II съезде эсеров (1907) он провозглашал, что путь террору открывается лишь тогда, когда общественная ненависть сосредоточивается на каком-либо правительственном лице, который становится символом насилия и деспотизма. «И когда раздается взрыв бомбы, из народной груди вырывается вздох облегчения. Тогда всем ясно: свершился суд народный» [1, с. 173].

Данное общественное настроение точно воспроизвел Л. Андреев — писатель, по праву, считавшийся выразителем умонастроений и мироощущений своего времени в рассказе «Губернатор», ставшем художественным откликом на убийство Богдановича членами эсеровской «боевки» Г. Гершуни и Е. Дулебовым. В первоначальной редакции, носившей характерное заглавие «Бог отмщения», он в психологических подробностях воспроизводит атмосферу, когда все: и губернатор, отдавший приказ о расстреле рабочей демонстрации, и весь город — ожидает неизбежного возмездия за совершенное преступление и с облегчением встречает весть об убийстве. Писатель объясняет это не социальной ненавистью, а неким вечным Законом Мщения, опираясь на этические конструкты А. Шопенгауэра, который, критикуя теорию Канта о наказании как возмездии ради возмездия, говорил о «вечном правосудии», стоящем вне мира явлений. «Если вникнуть в дух этой жажды возмездия, — рассуждал Шопенгауэр, — то она оказывается очень непохожей на обычную месть <...> целью может быть названа не столько месть, сколько кара, потому что в намерение входит здесь воздействие на будущее силой примера, и притом здесь отсутствует какой-либо своеобразный расчет ... для отомщающего индивида (ибо он при этом погибает)». Воплощение идеи «вечного правосудия» Шопенгауэр видел в отдельном мстителе, который «хочет примером неотвратимой мести устроить всякого будущего злодея». «Это редкая, знаменательная и возвышенная черта, в силу ее отдельные личности приносят себя в жертву, желая стать десницей вечного правосудия, подлинной сущности которого они не понимают» [12, с. 336].

Эти положения во многом совпадали с идеологией боевого крыла партии эсеров, у которых важнейшим аргументом в защиту террора служила идея неотвратимости возмездия, а идущий на террор представлял не только как мститель, но и грозное предупреждение «слугам закона». Любопытны отзывы европейских газет, собранные в эсеровском периодическом издании «Революционная Россия» после убийства вел. кн. Сергея Александровича. «Кровь вызывает кровь, — писала французская „Gil Blase“. — Не надо было быть пророком, чтобы предсказать, что в стране, где закон — игрушка в руках немногих лиц, люди, ответственные за расстрелы, обгадившие снег кровью женщин, детей и бедных рабочих, пришедших мирно просить „батюшку-царя“, были осуждены умереть насильственной смертью». «Это покушение — новая форма протеста русского народа против режима. Он начал с просьб, продолжал угрозами и теперь совершает кровавые репрессии»¹, — заключала бельгийская «L'Independence Belge».

Уже на ранних стадиях бытования терроризма было очевидно, что он возможен лишь тогда, когда получает поддержку хотя бы части общества. Для теоретиков и практиков террора представлялось чрезвычайно важным позиционирование себя перед лицом общественного мнения — не только русского, но и европейского. Поэтому каждый их «акт» (как они называли очередное убийство) был открыто декларативен, рассчитан на широкий общественный резонанс. Объявив свою деятельность гласным судом над врагами народа, а непосредственных исполнителей — орудием, совершающим общественный приговор, они много внимания уделяли тому, что в настоящее время получило наименование пиар-деятельности, активно способствуя созданию мифологизированного и романтизированного образа террориста. В революционных изданиях формировался своего рода иконоста

¹ Революционная Россия. 1905. № 25. 1 июня. С. 2

мучеников и святых: печатались пространные некрологи и воспоминания, в которых предстал образ героя, «избранного», отдавшего жизнь за всеобщее благо. Эффект воздействия на массовое сознание был огромен. В атмосфере общественной экзальтации и революционного невроза «забывалась» страшная сторона террора, кровь и куски человеческого мяса, остававшиеся после «актов» подвижников, вооруженных бомбами и браунингами. Известный писатель М. Осоргин, в начале века близкий к крайнему крылу партии социалистов-революционеров — эсерам-максималистам, вспоминая об одном из ярких представителей этого движения — Владимире Мазурине, повешенном в 1906 г., одно имя которого при жизни навредило ужас, приводил слова охранявшего его жандарма: «людей убивал, а сам будто ребенок, либо святой». «Этот рассказ <...> понятен всякому, кто знал Володю, обаятельного голубоглазого юношу, полного любви к человечеству, ради которого он подымал руку на человека. Его портреты, во множестве изданные максималистами, вывешивались, как иконы»¹, — комментировал писатель.

Персонажи представляли как воплощение лучших человеческих качеств, средоточие физической и духовной красоты. Возвышенный и поэтический образ вставал из воспоминаний о Лидии Стуре, участнице Летучего боевого отряда Северной области, казненной за покушение на министра юстиции И. Щегловитова в феврале 1908 г. «Стройная девушка, полная дивной, одухотворенной красоты» [9, с. 520–521], — делился впечатлениями знаменитый узник Шлиссельбурга Н. Морозов. «Прелестная, изящная Лидия Стуре заходила ко мне. В шубке и меховой шапочке, еще осыпанной снегом, высокая, стройная, с тонким, правильным личиком, она была восхитительна» [11, с. 244], — писала в своих воспоминаниях легендарная В. Н. Фигнер; а П. С. Ивановская-Волошенко создала яркий обаятельный образ: «Нежная, хрупкая, совершенное дитя, смотревшая мечтательно своими большими синими глазами, обрамленными длинными ресницами, вся худенькая, еще не сложившаяся, с узкими острыми плечами, вытянутой шейкой и длинными-предлинными двумя косами...» [6, с. 159]. С тем же восторгом современники писали и о руководителе боевого отряда Северной области В. Лебединцеве после его казни, восхищаясь аристократизмом, красотой, талантом ученого, которым он пожертвовал ради торжества общей справедливости, единодушно утверждая: «Это был один из тех редких высоко нравственных людей, одно присутствие которого как бы возвышает окружающих»². Фигуры С. Балмашева, Е. Созонова, И. Каляева, которые стали знаменем террора, обратили внимание на удивительный психологический тип — убийцы и жертвы в одном лице.

Что же так привлекало в деятельности террористов? В первую очередь, романтика бескорыстного подвига и жертвы, близкая русскому сознанию в целом, увлекавшая сотни и тысячи молодых людей, становящихся «пушечным мясом» революции. Именно она настойчиво акцентировалась революционной печатью и стала определяющей для психологической мотивации большинства членов Боевой организации и нравственным оправданием террора. Об этом свидетельствуют, в частности, воспоминания Б. Савинкова, одного из самых ярких руководителей Боевой организации эсеров, организатора многих громких покушений. «К террору <он> пришел своим, особенным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, решительную жертву» [10, с. 36], — характеризовал Савинков Ивана Каляева, убийцу вел. кн. Сергея Александровича; «Террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всего жертвой, которую приносит террорист» [10, с. 40], — писал он о Доре Бриллиант.

¹ Осоргин М. Венок памяти малых // На чужой стороне. Берлин-Прага, 1926. № 6. С. 118.

² Осоргин М. Неизвестный, по прозвищу Вернер // На чужой стороне. Берлин-Прага, 1924. № 4. С. 203.

Эффектный ореол мученичества, жертвенности, личной святости, которым последовательно и упорно окружали свою деятельность члены эсеровских боевков, способствовал мифологизации образа террориста и оправданию насилия в общественном сознании. Так, например, общественный и религиозный деятель В. Свенцицкий в своем докладе «Террор и бессмертие» утверждал, что грех убийства будет оправдан, потому что «и Каляев, и Балмашев, и Спиридонова, и десятки других, им подобных, убивая должностных лиц, — сами идут на верную смерть. <...> Это мученики — и грех им простится, за эту великую святую любовь, которая толкала их на преступление»¹.

Настроение русского общества хорошо выразил М. Осоргин, Указывая на необходимость различать террор власти и героизм Давидов, «идущих с пращой против вооруженного до зубов Голиафа почти всегда на верную смерть», писатель оправдывал революционное насилие жертвенным мученичеством тех, кто его совершал: «И когда история или людская память призовут на свой суд тех больших и малых „жонглеров бомбами и жизнями“, пусть судьи учтут не только мотив деятельности подсудимых, не только их позицию Давидов в борьбе с Голиафами, — но и всю сумму уже перенесенных ими возмездий, и от руки торжествующего победителя, и от страшнейшего палача: потрясенной души человека, который убил человека»².

Категория жертвенности определила и другую важную составляющую терроризма — его связь с религией. Соединение террора и религии, что так ярко характеризует сегодняшний экстремизм, было одной из важнейших черт терроризма начала прошлого столетия. Как справедливо отмечает М. Колеров, «при всей внешней атеистичности партии, многие эсеры, в том числе и террористы, были не лишены религиозного чувства» [7, с. 139]. Они сознательно вводили свою деятельность в христианский контекст, обращаясь не к церковности, но к сути христианства, делая евангельские заповеди основой своего жертвенного подвижничества. Девизом терроризма было изречение из Евангелия от Иоанна: «Нет больше той любви, как если бы за други свои положить душу свою» (Ин. 15:13). В начале XX в. были явлены удивительные личности, фантастическим образом соединившие религиозное сознание и революционное насилие. Характерна, например, фигура Марии Беневской. «Верующая христианка, не расстававшаяся с Евангелием, она каким-то неведомым и сложным путем пришла к утверждению насилия и к необходимости личного участия в терроре» [10, с. 196], — характеризовал ее Савинков. На его вопрос о мотивах, приведших ее в террор, она ответила цитатой из Евангелия: «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю» (Лк. 9:12). «Маруся была верующей христианкой и пошла в террор, как в средние века верующие шли на костер» [5, с. 280], — подтверждал в своих воспоминаниях видный деятель эсеровской партии В. Зензинов. Подобной личностью был и Иван Каляев, который перед покушением на московского генерал-губернатора молился перед иконой Иверской Божией Матери, держа в одной руке бомбу, а другой совершая крестное знамение.

В начале XX в. не только в сознании самих участников революционного движения их действия приобретали христианский смысл, но и в среде русской интеллигенции сложилась концепция религиозности русского террора. Большую роль во внедрении в русское общественное сознание этой идеи сыграл сборник статей З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Filosofova «Le Tzar et la Revolution», вышедший в 1907 г. в Париже и книга Д. Мережковского «Не мир, но меч» (1908), во многом повторившая его основные положения. Мережковский видел в русской революции сверхис-

¹ Свенцицкий В. Террор и насилие // Вопросы религии. Вып. 2. М., 1908. С. 26.

² Осоргин М. Венок памяти малых // На чужой стороне. Берлин-Прага, 1926. № 6. С. 118.

торическое явление, своего рода новый Апокалипсис, который должен завершиться осуществлением «Третьего завета» и приходом нового Царства. Подобная трактовка исходила из понимания теократической сути самодержавия. Д. Философов в статье «Царь-Папа» подробно разъяснял эту концепцию. Он отождествлял власть Папы, т. е. церкви, на Западе и власть царя на Востоке. По его мнению, этим определялись крайности в противостоянии власти и общества. Если на Западе политика правительства зависела от общественного мнения, противники сражались посредством посланий и речей, то в России, лишенной такой возможности, слово берут браунинги и бомбы как единственный способ воздействия на власть. Поскольку самодержавие — своего рода религия, то и борьбе с ним также придавался религиозный смысл. Мережковские принимали пролитие крови «во имя» и говорили о святости революционной жертвы. «Русская революция не только политика, но и религия», — провозглашал Мережковский. «Всего менее сознают это революционеры. В сознании своем они — безбожники. <...> Ежели смотреть не на то, что русские революционеры говорят, а на то, что они делают, нельзя не увидеть, что эти безбожники иногда святые. Со времени первых мучеников христианских не было людей, которые бы так умирали; по слову Тертуллиана, „они летят на смерть, как пчелы на мед“» [8, с. 206].

З. Гиппиус уподобляла террористов первым христианам в катакомбах. «Их жизнь — это жизнь аскетов, отказавшихся от всего ради идеи. <...> Они подчиняются суровому принципу послушания; им сладки жертва и борьба. Гонимые, но все более непокорные, не подобны ли они в своем подполье христианским аскетам первых веков? <...> Основное психологическое побуждение большинства из них, и особенно женщин, таково: „Я хочу страдать, я хочу пострадать за правду“ — девиз чисто христианский, даже слишком христианский» [3, с. 117]. В такой трактовке террористический акт превращался в терновый венок, путь террориста — в Голгофу, а его смерть на эшафоте — в искупление.

Собственное религиозное понимание русской революции Мережковские пытались внедрить в сознание представителей революционного движения, прежде всего, Б. Савинкова. Под влиянием их идей создавался роман Савинкова «Конь бледный». Во многом автобиографический, отразивший конкретные реалии подготовки покушения на вел. князя Сергея Александровича, он пронизан темами, мотивами, явлениями и скрытыми цитатами из Апокалипсиса. Его главным героем — террорист Ваня, тип «идеального революционера», прообразом которого стал И. Каляев, идет на террористический акт как на крестную муку.

Для многих приверженцев террора одним из самых трагических был вопрос о насильственном убийстве. Нравственная дилемма: желание принести благо народу и необходимость пролития крови «во имя» — разрывала сознание наиболее глубоко мыслящих его участников. Единственным морально-философским оправданием, с их точки зрения, могла быть ситуация, когда акт убийства одновременно был и актом самопожертвования. Один из современников так характеризовал Каляева: «Террор-убийство стало для него возможным только потому, что оно было и жертвой, и саможертвованием. И я не знаю, было бы для него возможно террористическое покушение, если бы оно не влекло за собой казни»¹.

Обязательность жертвы определяло поведение «героев террора», не стремившихся избежать гибели, а напротив, жаждущих ее. Причем это была не только готовность погибнуть на месте теракта, подобная той, которую описывал, например, глава петербургского охранного отделения А. Герасимов, говоря об аресте В. Лебединцева: «Он был по всему телу опоясан динамитными шнурами. Террористы предполагали бросить бомбу в карету министра. Если бы это не удалось или бом-

¹ Могилянский М. В девяностые годы // Былое. 1924. № 24. С. 131.

ба бы не взорвалась, Лебединцев предполагал в виде живой бомбы броситься под карету министра и погибнуть вместе с ним» [2, с. 122], но сознательно встретить день и час своей казни. В. Зензинов говорил, что самое сложное в положении террориста не сам акт, а ожидание гибели в одиночестве, что требует гораздо большего мужества и героизма. «Умереть в героическом порыве вместе с другими — дело вовсе не такое трудное, <...> гораздо труднее умереть в одиночку, сохранить до последнего мгновения самообладание» [5, с. 274].

Эстетизация смерти — важная составляющая психологии террора. Смерть на эшафоте рассматривалась террористами как обязательная завершающая часть ритуала и наивысшая точка их судьбы. «Я часто думаю о последнем моменте, — размышлял И. Каляев. — Можно умереть на месте — ярко вспыхнуть и сгореть без остатка... Да, это завидное счастье. Но есть счастье еще выше — умереть на эшафоте... Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченным. Между делом и эшафотом еще целая вечность — может быть, самое великое для человека... Только тут узнаешь, почувствуешь всю силу, всю красоту идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете» [5, с. 273]. Именно эта психологическая установка объясняет, почему Каляев отказался от предложения вдовы убитого им московского генерал-губернатора великой княгини Елизаветы Федоровны написать прошение о помиловании. Это было не сумасбродное решение психически неуравновешенного человека, как это часто трактуется, но вполне осознанное и последовательное принятие смерти на эшафоте как к ритуалу.

Современники, хорошо знавшие Лидию Стуре, отмечали особую сосредоточенность на идее жертвенной гибели, которая представлялась как величайшее счастье. По словам очевидцев, она шла на смерть как на праздник. Другая известная террористка Анна Распутина-Шулятикова, возражая своим обвинителям, утверждавшим, что в террор идут потенциальные самоубийцы, в ком убит инстинкт жизни, вследствие чего они не дорожат ни жизнью других людей, ни своей собственной, сказала перед казнью: «Это не так! В нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой» [4, с. 497].

Подобное самосознание, в котором политическое убийство окрашивалось в тона христианского подвига, а смерть ассоциировалась с терновым венцом, определяло героическое поведение террористов, с готовностью шедших на гибель, встречавших смерть с улыбкой на устах, вызывало уважение даже их политических противников. Начальник петербургского охранного отделения А. В. Герасимов вспоминал высказывание прокурора, по долгу службы присутствовавшего при казни членов Летучего боевого отряда Северной области: «Как эти люди умирали! Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости. С улыбкой на устах они шли на казнь», и вынужден был признать: «Героизм этой молодежи... привлекал к ней симпатии в обществе» (2, с. 122–123).

Современный международный терроризм существует в условиях аудиовизуальной культуры информационного общества и «рекламирует» себя с помощью нового языка и современных мультимедийных и сетевых технологий. Свидетелями их «актов» становятся не случайные прохожие. Видеоролики с жестокими казнями стали привычным публичным жестом и актуальным сетевым контентом, в котором умело срежиссированный видеоряд является оружием, воздействующим на массовое сознание. Лица погибших террористов и их остающихся в безопасности главнокомандующих смотрят на нас не с плохо отпечатанных портретов, выходящих малым тиражом партийных изданий, а с огромных экранов телевизоров и компьютеров. Посредством интернета они разговаривают со всем миром; пользуются самыми продвинутыми ПР-технологиями. Тем не менее типологические особенности бытования терроризма, поведение и мотивированность его участников, его декларативное позиционирование вполне схожи с аналогом, существовавшим столетие назад.

Поэтому не лишне забывать, что затухание террористического пожара в России было определено не только жесткой правительственной политикой, проводимой П.А. Столыпиным и не только профессиональной работой карательных органов, но, в первую очередь, изменением общественного мнения, последовавшим за громким разоблачением провокаторской деятельности Евно Азефа, который одновременно был членом ЦК партии эсеров, организатором громких покушений и платным агентом охраны. Рухнул миф о бескорыстной жертвенности революционного подвижничества, была развенчана этика мученического героизма. Это стало причиной душевного кризиса многих рядовых участников, отвратило большую часть молодежи, пополнявшей его ряды, и в конечном итоге привело к идейному краху терроризма и постепенному его угасанию. История русского террора заставляет задуматься о способах борьбы с терроризмом сегодня.

Литература

1. Будницкий О. Терроризм в российском освободительном движении. М., 2000.
2. Герасимов А.В. На лезвие с террористами. М., 1991.
3. Гиппиус З. Революция и насилие // З. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. *Le Tzar et la Revolution*. [Paris, 1907]. М., 1999.
4. Записные книжки полковника Г.А. Иванишина / Публ. А. Марголиса, Н. Герасимова, Н. Тихоновой // Минувшее: историч. альманах. М., СПб., 1994. Т. 17.
5. Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк, 1953.
6. Ивановская-Волошенко П. В боевой организации. М., 1929.
7. Колеров М.А., Морозов К.Н. Религиозное сознание и революция. Мережковские и Савинков в 1911 г. // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 138–142.
8. Мережковский Д. Не мир, но меч. М., 2000.
9. Морозов Н. Повести моей жизни: в 2 т. Т. 2. М., 1965.
10. Савинков Б. Воспоминания террориста. Харьков, 1926.
11. Фигнер В. Запечатленный труд. Полное собр. соч.: в 3 т. М., 1932. Т. 3.
12. Шопенгауэр А. Собрание соч.: в 5 т. Т. 1. М., 1992.

References

1. Budnitskiy O. *Terrorism in the Russian liberation movement* [Terrorizm v rossiiskom osvoboditel'nom dvizhenii]. М., 2000. (rus)
2. Gerasimov A.V. *On an edge with terrorists* [Na lezvie s terroristami]. М., 1991. (rus)
3. Gippius Z. *Revolution and violence* [Revolutsiya i nasilie] // Gippius Z., Merezhkovsky D., Filosofov D. *Le Tzar et la Revolution*. [Paris : 1907]. М., 1999. (rus)
4. *Notebooks of the colonel G.A. Ivanishin* [Zapisnye knizhki polkovnika G.A. Ivanishina] / Publ. A. Margolis, N. Gerasimov, N. Tikhonova // Past: Historical almanac [Minuvshee: Istorich. al'manakh]. М., SPb. : 1994. V. 17. (rus)
5. Zenzinov V. *Endured* [Perezhitoe]. New York, 1953. (rus)
6. Ivanovskaya-Voloshenko P. *In the fighting organization* [V boevoi organizatsii]. М., 1929. (rus)
7. Kolerov M.A., Morozov K. N. *Religious consciousness and revolution. Merezhkovsky and Savinkov in 1911* [Religioznoe soznanie i revolyutsiya. Merezhkovskie i Savinkov v 1911 g.] // Questions of Philosophy [Voprosy filosofii]. 1994. N 10. P. 138–142. (rus)
8. Merezhkovsky D. *Not the world, but sword* [Ne mir, no mech]. [SPb., 1909]. М., 2000. (rus)
9. Morozov N. *Stories of my life* [Povesti moei zhizni]: in 2 volumes. V. 2. М., 1965. (rus)
10. Savinkov B. *Memoirs of the terrorist* [Vospominaniya terrorista]. Kharkiv : 1926. (rus)
11. Figner V. *The imprinted work* [Zapechatlennyy trud]. Full collection of works: in 3 v. V. 3. М., 1932. (rus)
12. Schopenhauer A. *Collection of works* [Sobranie sochinenii]: in 5 v. V. 1. М., 1992. (rus)